

## КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

**Викторъ Шкловскій.** Сентиментальное путешествие. «Геликонъ». 1923 г.

Викторъ Шкловскій — настоящий писатель, и притомъ писатель талантливый.

У него очень зоркіе глаза: его бѣглыя зарисовки самыхъ разнообразныхъ людей, сдѣланы двумя, тремя штрихами, всегда рельефны, часто блестящи, а иногда и существенны.

Филоненко, ищущій въ своемъ небѣ свою отсутствующую въ немъ звезду, Верховскій, букеющий въ военномъ министерствѣ, Стоговъ, растерянный генералъ, жалующийся: какіе-то большевики, меньшевики... — я же васъ всѣхъ привыкъ считать, простите меня, измѣнникамъ; Либеръ, который говорилъ прекрасно и одушевленно, но слова котораго летѣли какъ отруби, а не падали какъ сѣмена, солдатъ артиллеристъ, котораго вмѣстѣ съ трехдюймовою пушкой нѣсколько разъ брали въ плѣнъ, то бѣлье, то красные и который пришелъ къ заключенію: «я знаю одно, мое дѣло понасть» — во всемъ этомъ непосредственно радуется полновѣсное присутствіе портретируемой «натуры».

Но у Шкловскаго не только зоркіе глаза, у него и очень острый умъ. Въ его книгѣ много мѣткихъ образовъ, которые — не только зарисовки видѣннаго, но стянутые въ сложный узелъ образа длинные ряды пережитого и продуманнаго. «А дорога все шла безконечная, какъ война, вѣдь всѣ военныя дороги — тупики»; «денегъ въ Персію было убито много. И все это было бесполезно, все это былъ крѣпостной бадей. Мы жали и душили, но мы не ѣли трупъ»; «а средній солдатъ усталъ, и не видитъ цѣли войны, ему нужна перемѣна правительства, какъ нѣшеходу переобуться»; «я тутъ былъ, какъ иглолка безъ нитки, безслѣдно проходящая сквозь ткань» — во всемъ этомъ непосредственно радуется крѣпкій интеллектуальный пастой образа.

Кромѣ этихъ двухъ достоинствъ въ книгѣ Шкловскаго есть третье. Въ ней есть темпъ. Вся книга куда-то несется и все въ ней мелькаетъ: событія, люди, образы, мысли. О томъ, что этотъ

бъшены темпъ глубоко существеннъ и оправданъ, говорить не приходится. Шкловскій пишетъ о революци, и Шкловскій, пишущий о революци, — Шкловскій - солдатъ, по роду своего оружія — солдатъ броневикъ.

Но если въ глазахъ Шкловскаго — радуеть ихъ зоркость, то въ его взглядахъ печалитъ полное отсутствіе перспективы. И если въ умѣ Шкловскаго радуеть блескъ и острота, то печалитъ полное отсутствіе темы. И если въ ритмѣ его книги убѣждаетъ безумная темпъ революци, то печалитъ отсутствіе разумнаго, сверхреволюціоннаго противотема. Нельзя же человѣку быть только льдиной въ революціонномъ половодѣ. Льдинѣ судьба одна — растаять; человѣку же надо устоять и осилить.

Человѣку надо — но писателю Шкловскому, быть можетъ, и нѣтъ. Онъ самъ говоритъ о себѣ, что онъ только «камень, который падаетъ и можетъ въ то же время *наблюдать* свое паденіе». Шкловскій участвовалъ въ революци съ невѣроятною страстностью. Сначала онъ боролся за революціонное наступленіе Керенскаго, потомъ противъ контръ-революци Корнилова, дальше, вмѣстѣ съ социаль-революціонерами за Учредительное Собраніе и, наконецъ, «вмѣстѣ съ трижды проклятыми большевиками» противъ Врангеля. Въ Галици онъ вдвоемъ съ развѣдчикомъ ходилъ на пѣмеля въ атаку. Въ Перси одинъ усмирялъ базарный погромъ. Онъ былъ дважды раненъ: разъ самъ взорвался, разъ былъ пѣмцами прострѣленъ въ животъ. Но несмотря на все это, на всю боевую доблесть и революціонную энергию, изъ книги Шкловскаго никакъ не вырастаетъ вопроса: откуда нашелъ этотъ человѣкъ въ себѣ силы, чтобы исполнить свой долгъ, а вырастаетъ совершенно другой: кто далъ этому человѣку право принимать такое горячее участіе въ судьбахъ Россіи и революци.

Случайность и зрячность своего участія въ революци осознаны самимъ Шкловскимъ съ чоткостью, не заставляющей желать ничего большаго. Онъ самъ называетъ себя «дидлестантомъ революци», «самоваромъ, которымъ забиваютъ гвозди», «нездѣшнимъ» въ отношеніи къ революци человѣкомъ. Ему жаль, что «подходилъ и хотѣлъ что-то исправить»; но если такъ, то что же заставило его не остаться среди жертвъ революци, а стать ея жрецомъ? Думается, что отвѣтъ возможенъ только одинъ: первы и тоска. «Я метнулся въ военкомъ», «я пиналъ передъ собою толпу *безумную и слѣпую*, какъ и самъ», «мною овладѣло *слабое и глупое* бѣшенство», «я получилъ *ударъ* въ плечо и сразу, автоматически началъ стрѣлять, не целясь, разъ за разомъ, не попадая», «я говорилъ съ *отчаянною* энергіей: — смутная тревога натягивала *нервы до обрыва*», «я рѣшилъ нецать себѣ новаго *ярма*», «тоска вела меня на

окраины, какъ луна лунатика на крыши», «я тосковалъ на Востокѣ, какъ Гоголь въ Палестинѣ» и т. д. Все «я», «мой первый», «моя тоска. — а въ результатѣ тоски и нервноста метапіа, бѣшенство, отчаяніе и слѣзота разорванной въ ключья жизни, объединенной то «ироніей», которая по мнѣнію автора «все связываетъ и замѣняетъ трагедію», то безуміемъ: «безуміе систематично, во время сна все связано... и моя жизнь тоже соединена своимъ безуміемъ, я не знаю только его имени».

«Мы напрасно такъ умны и такъ дальновидны въ политикѣ. Если бы мы, вмѣсто того, чтобы пытаться дѣлать исторію, пытались просто считать себя ответственными за отдѣльные событія, составляющія эту исторію, то можетъ быть это вышло бы и не смѣшно. Не исторію нужно стараться дѣлать, но биографію». Съ этими умными и исполненными нравственнаго пафоса словами нельзя не согласиться. Но одно дѣло участвовать въ исторіи такъ, чтобы не обременять своей биографіи ни однимъ безответственнымъ поступкомъ, и совсѣмъ другое—участвовать въ величайшихъ событіяхъ исторіи лишь «на предметъ» обогащенія своей биографіи. Это второе дѣлалось биографіи вмѣсто исторіи нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ первое. Въ немъ пафосъ уже не этический, но артистически снобистическій. Этическимъ пафосомъ у Шкловскаго исполнена только одна фраза; артистическимъ снобизмомъ пропитана вся его талаятливая, умная, захватывающая, но отвращающаяся отъ себя и вызывающая страшный протестъ книга.

Рядомъ съ этимъ ея большимъ грѣхомъ не хочется говорить о ея маленькихъ недостаткахъ. Немножко смѣшное, хотя и трогательное впечатлѣніе производитъ влюбленность автора въ себя самого, какъ въ главу формальной школы, носится онъ со своимъ формальнымъ методомъ, какъ съ писанной торбой, не замѣчая, что формулировки вродѣ тѣхъ, что Блокъ канонизаторъ цыганскаго ромаса, очень немногимъ отличаются отъ правильного утверждения Кони, что Пушкинъ провозвѣтникъ суда присяжныхъ. Сработана книга кое въ чемъ тоже неряшливо. Очень часты въ ней повторенія уже сказаннаго: о Кони и Пушкинѣ одно и то же говорится дважды (стр. 271, 329), дважды сообщается также о томъ, что муселнинъ изъ Массула (стр. 346, 359), дважды рассказывается, что авторъ спасъ жизнь Ага - Петросу (стр. 120, 347) и такихъ повторений много.

Есть странные образы: «лопады безмолвно натягивали постромки», — вызывать представление о какихъ-то говорящихъ лошадахъ. Есть странное сообщеніе — «верблюды больше лошадей», напоминающее знаменитое Чеховское — «Волга впадаетъ въ Каспійское море». Также, когда вѣютъ, то по воздуху летятъ мякина,

отруби же получаютъ на обдирочной, ободранное же зерно — не сѣмя...

Есть и неточности языка. Врядъ ли русская кухарка говорила: «что, посидѣли за русской шеей?» — скорѣе она говорила «на шеѣ». Прячутся за спиной, но сидятъ на шеѣ. Небезупречно также «я скинулъ короткую шубу, которая была надѣта на меня», — правильнѣе было бы «на мнѣ».

Для всякаго «простого» писателя все это, конечно, «сущіе пустяки», но для главы «формалистовъ» это, быть можетъ, и существенные недостатки. Тамъ, гдѣ все форма, тамъ и все содержаніе.

### Ф. Степунъ.

**«Окно».** Трехмѣсячникъ Литературы. Изд. М. и М. Цетлинъ. Парижъ, 1923.

Первый номеръ трехмѣсячника «Окно» производитъ прекрасное впечатлѣніе разнообразіемъ и богатствомъ матеріала. Это не журналъ, конечно, а скорѣе періодическій сборникъ, альманахъ. — и потому замѣчаемое съ перваго же взгляда отсутствіе въ немъ единства, какой-либо руководящей мысли или даже общаго настроенія — не представляетъ въ данномъ случаѣ большого дефекта. Сборникъ составлялся, повидимому, по персональному признаку, отборъ въ немъ производился по крупнымъ, знаменитымъ именамъ, и получилось, дѣйствительно, блестящее оглавленіе, въ которомъ содѣлываютъ Бунинъ, Бальмонтъ, Зайцевъ, Мережковский, Шестовъ, Купринъ, Ремизовъ... Конечно, не все здѣсь равноцѣнно; общій уровень, однако, высокъ, сравнительно съ обычнымъ тономъ и характеромъ подобныхъ сборниковъ, гдѣ одинъ, много — два боевыхъ разсказа или статьи покрываютъ часто своимъ флагомъ всякій хламъ и балластъ. И все же хочется думать, что слѣдующіе номера «Окна» украсятъ свои страницы именами менѣе славными, малоизвѣстными даже, но «молодыми», способными внести нѣкоторый элементъ неожиданности, сюрприза новизны, хотя бы дерзкой и легкомысленной.

На обложкѣ читаю: «Парижъ, 1923 г.» Но если бы написано было: «Петербургъ, 1913 г.», все, думаю, поутрилли бы: не только не найти здѣсь, въ этой книжкѣ, прямого отраженія событій послѣднихъ лѣтъ, войны и революціи; но въ самомъ тонѣ большинства разсказовъ, спокойномъ, основательномъ, не ощущается той возбужденности, той тревоги, той растерянности, которая столь характерна для русской послѣреволюціонной мысли, и по которымъ становится возможнымъ опредѣлить возрастъ произведенія... Я только констатирую фактъ, нисколько не «критикуя»; напротивъ,